

## ЗАРЯ

### I

#### Памяти милых сердцу

Женя не мог сказать, с какого времени начал себя помнить. Были ничтожные или непонятно-прелестные воспоминания,— игра, ласка, запах летнего сада; но это тонуло в тумане детства, легендарного существования, бросающего на целую жизнь свой свет.

И лишь много позже выяснилось для него, что начало жизни проходило в деревне. Навсегда врезался двухэтажный белый дом на взгорье, почти среди села; дорога к церкви, усаженная раkitами; бело-розовая церковь с раздольным погостом, откуда видны луга, с разметавшейся «попо-вкой»,— там жил причт. Наискось через улицу большой сад. Здесь уже слегка таинственно, и некое очарование представляли его дальние липовые аллеи, выходявшие за село, в поле; глухие места, заросшие бурьяном и крапивой; маленький овражек, где валялись лошадиные кости и росли особенные, белые цветы.

А далеко вокруг дома, церкви, сада, села, расположенного на полухолме,— синели кольцом леса. Что было в них, какие жили звери или разбойники, этого детский ум не знал. Но их названия были внушительны, иногда жутки: Брынский лес, Козий бор, Чертолом. Эти леса и поля, шедшие к ним, и речка среди ровных лугов, присылали с ветрами свои благоуханья — девственную кре-Ность, чистоту, силу. Жизнь маленьких людей была овеяна ими. Не оттого ли всё в те дни — во время Эдема — казалось острым и дивным, как божественный напиток?

### II

Из окон Жениной детской, во втором этаже, виднелся склон к речке, луга, и далекий закат на горизонте. Много свету было в этом виде. Как будто окна выходили вообще на Божий мир, лежавший в таком просторе и ясности.

В девять, к концу ужина, дети уставали. И Женя, и сестра Соничка клевали носом, и тут нужно было умение, чтобы отправить их спать. Был и способ для этого. Приходил Гришка, кривоногий человек невзрачного вида, тихая женщина Дашенька; только им можно было уносить детей. Часто — садились верхом, и полусонные, со сплетающимися детскими мыслями брели на отдых.

Раздеваясь, видели красную зарю, гасшую за заказом, туман над лугами. Далеким, милым дерганьем кричали коростели. Эти коростели и закаты незабываемы; чистым видением сохранились они навсегда.

Засыпали покойно. Только Женя требовал, чтобы рядом в комнате сидела Дашенька. Было ли жутко наступление ночи, с июньскими звездами, или казалось страшным не заснуть к известному часу?

Но Дашенька сидела, а вдали, в столовой, была и мама. И может быть, эта мама, которая прелестней всех закатов, может быть, она подойдет и заглянет. А какое счастье, если поцелует. Тогда, наверно, будет осилено беспокойство ночи и светлый сон, где видишь, что летишь, возьмет незаметно.

### III

В слове «отец» для Жени заключалось все могущественное и интересное, что возможно представить в человеке. Он мог одолеть что угодно, устроить всякое дело; он был охотник. Стрелял волков и медведей где-то в дебрях, в Чертоломе, и ничего не боялся. Летом он ездил за тетеревами.

Рано утром, проснувшись, Женя подбегал к окошку — и снова те же зеленые, покойные луга, за ними ржи, и на горизонте Высоцкий заказ, где охотится отец. В блеске солнца, в напряженном зное, колышущемся над полями, в легком мираже над горизонтом эти утра так бессмертны! Не тогда ли дается человеку откровение природы?

— Женя, k1au!eg 8p1e1ep! (Играй на рояле! (нем.)

И конечно, он шел. Лина сидела над ним, он бездарно разыгрывал этюды, за окнами липы цвели, золотели, сладко благоухали, и все думалось: сколько же тетеревов привезет отец?

Катятся дрожки. Черная Норма бежит с высунутым языком. Тут уж нет сил удержать гаммами.

— Много убил? Нет, расскажи!

Снимая сапоги, отец должен был подробно рассказывать, а Женя слушал в волнении, с неотступным интересом, точно дело шло о битве, геройских подвигах.

Когда-то ему купят ружье!

После обеда отец спал, накрывшись пиджаком. В четыре его можно было будить. В это время в его комнате было душно, и стоял мужественный, знакомый запах, который Женя так любил. Подкравшись, он целовал отца в щеку. Тот вскакивал, но, увидев Женю, смеялся и ласкал его.

Потом шли на речку купаться; там снова дивно пахнул лозняк, прибрежный песок блестел, летали стрижи, отец учил Женю плавать, и он благоговел, держась за его загорелую шею, задышался от гордости, если выказывал ловкость. Так летело время, пока солнце не сходило книзу, краснея. Значит, ушел день. Кто считает их? Закутав головы полотенцами, они шли домой.

#### IV

В разгаре июля, знойного, радостного месяца, загнать детей в комнаты трудно. Бедная Лина могла охать сколько угодно,— Женя, Соничка, кузина Лиза Толстая, или Лиза Собачка, целыми днями пропадали в большом саду, где-то на гумнах, в коноплях, в крыжовнике. Заметив Лину, хохотали, кричали таинственное детское слово «чибис»,— оно значило все что угодно,— и вихрем неслись в свои тайные места, известные только посвященным.

— Соня, Соня, давай бегать!— кричала Лиза Собачка и, в упоенье от здоровья, счастья, неслась, как дикий кобыленок, по аллеям. За ней Соня, Женя. Но Женя не мог угнаться. Они старше и ловчей. Он злился.

— Дуры! Конечно, дуры! Выдумают еще!

— Не догнал, не догнал! Сам дурак.

Лиза Толстелькая останавливалась и показывала язык.

— Бим-бом!

— Не понимаю я ваших глупостей!

Это слово приводило Женю в ярость. Девчонки хохотали, а он ничего не понимал. Здесь была уже маленькая женская тайна; они заливались, кувыркались от восторга, шептались и, как заговорщицы, спрашивали друг друга: «Это бим-бом?» — «Нет. Бим-бом было что-то другое, снова неуловимое и раздражающее.

К вечеру жара спадала. Тогда играли в лапту. Со слободы собирались дружественные мальчишки, разные Савоськи, Масетки, Романы — и разделялись на партии. Битвы получались жестокие. На широчайшей улице, по гусиной травке, затянувшей середину, в огненном азарте носились дети, барские и мужицкие попеременно, и только одна мысль: не смазать бы мячом, срезать бы врага, хоть у черты. Или запустить мяч Бог знает куда к небу, где, ласточки шмыгают в золотом свете, чтобы он на мгновение повис в синеве — и камнем книзу.

Хорошо, если играет пастушонок Вальтон. Почему он Вальтон, этого не знают. Он даже не из этой деревни, но в него влюблены все дети. Что-то есть в нем острое,

покоряющее. Когда он подъезжает со стадом, сидя боком на кобылке, дети кричат: «Вальтон, к нам!» Вальтон равнодушен, как знаменитость, и в этом тоже его обаяние. Сдав скот, он может, между прочим, и сразиться. Но это так, от нечего делать.

Побеждают те, на чьей стороне Вальтон.

## V

Товарищ отца по службе Дед (его звали так за громадную бороду) подарил Жене ружье. Это было событием.

С утра перед его приездом Женя волновался. Он догадывался смутным чувством — и скрывал, стараясь иметь независимый, равнодушный вид.

Но когда Дед ввалился, втащили его вещи и остался только странный, продолговатый ящик, Женя не вытерпел.

— А тут... что?— спросил он, задыхаясь, целуя Деда. Дед улыбался и гладил черную бороду.

— А посмотрим, посмотрим.

И там было ружье. Настоящее ружье, одноствольное, шомпольное, тульской работы. Соня с Собачкой визжали» Женя сиял молча. Он считал неудобным высказывать радость открыто. Отец с Дедом осматривали ружье, советовались, улыбались.

После обеда Дед сказал:

— Что же, надо идти пробовать.

Женя похолодел. Стрелять! Первый раз в жизни выпалить, произвести этот страшный гром, который пугал его, даже когда стрелял отец,— и не струсить!

Был прохладный день, сероватый. Липы в большом саду облетали, пахло милой и печальной осенью. На гумне Ивана Гусарова молотили цепами.

Впереди шел Дед с отцом, потом Женя, девочки, садовник, сзади гомозились мальчишки. В саду выбрали заброшенную сторожку караульщика; приклепили бумагу на двери, обвели круг.

— Ну, готово,— сказал Дед.— Николай Петрович, заряжайте.

Отец заколачивал шомполом пыж, а Женя стоял, смотрел невидящими глазами и вздыхал — как будто стрелять должны были в него. Наконец отец надел пистон. Девочки заткнули уши и замерли.

— Теперь бери... вот так, левую вперед, чтобы мушка на середине листа...

Женя видел только блиставший пистон. В нем отражался какой-то луч, и этот пистон действовал на него магически. Руки не двигались.

— Ну валяй!— крикнул Дед.

Женя что-то дернул, перед ним блеснуло, бухнуло, он отшатнулся и опустил ружье. Отец с Дедом смеялись.

— Страшно палить, а? Дед трепал его по щеке.

Ну, ничего, молодец.

— Нет,— сказал Женя, едва выговаривая слова,— не страшно.

Отец подошел к сторожке.

— Десять дробин, ай да ты!

Женя улыбался. Чем-то смутным, блаженным был он полон, и весь этот день, когда ружье висело в кабинете с «настоящими» ружьями, был так значителен, радостен; он уже не просто Женя, а владетель ружья, из которого может стрелять воробьев, сорок,— какое громадное преимущество перед девчонками!

Он был счастлив.

## VI

Слобода, где играли в лапту, дорога к церкви, все с наступлением осени обращалось в

топь. Приходилось сидеть дома. Только отец мог ездить в это время с гончими, дети учились, и бедная Лиза Толстенская часами разыгрывала экзерсисы; от скуки, неудовольствия по ее пухлым щекам текли слезы, но в это время года ничего уже нельзя было поделывать с Линой: она брала верх. Соня и Женя учились по-немецки. О ружье нечего было и думать.

Через час, два после обеда смеркалось. За окнами было темно, на деревне зажигали кой-где огни.

— Соня, Соня,— говорила Собачка,— за сколько б ты пошла сейчас на кладбище?

— Я б за тысячу.

— А я бы за десять не пошла...

В столовой шила что-нибудь мама, в комнате рядом с кухней Дашенька штопала чулки. Дети посылали за Настасьей.

Старая баба Настасья, птичница, хромая, подслеповатая, вносила с собой нечто сказочно-таинственное. Ее заставляли рассказывать, давали за это орешков, пряника. Усаживались вокруг в темной комнате, запирали двери — начинались рассказы.

— И было, значит, три сестрицы: одна двуглазка, другая одноглазка, третья трехглазка. И так это ведьма и говорит: закрой глазок, закрой другой, а про третий забыла.

После сказок прятались. В темноте залезали в шкафы, под туалет, под кровати. Искала всегда Настасья. Как тихий зверь, лазила и ковыляла она по полу, а дети хихикали, перескакивали из одной похоронки в другую, визжали, шмыгали под самыми ее руками и торжествовали.

— Будет вам, будет!— говорила мама, внезапно растворяя дверь.— Ужинать пора.

С ней врывался свет; жуткое и азарт, в котором жили эти часы,— пропадали, дети были недовольны.

— Мамочка, позволь еще! Милая!

Но мать настаивала: приходилось подчиняться.

— После этой Настасьи всегда такой запах!— Мама улыбалась и отворяла форточку. Дети расходились красные, с блестящими глазами.

Раз осенью, в такой же дождливый вечер Женя стоял с Настасьей у окошка. У него на губе был лишай, огник, как говорила Настасья. Он смотрел на огонек в избушке караульщика у погоста и повторял за Настасьей машинально: «Огонь, огонь, возьми огник, огонь, огонь, возьми огник». Ему было скучно. Непонятная тоска сжимала сердце.

— Теперь отплюнься: раз плюнь, два, и соскочит.

— Почему же соскочит?

— А уж потому. Увидишь.

Жене было все равно. Может быть, и соскочит. Он водил пальцем по стеклу и всматривался.

— Слушай,— сказал он,— а что сторож там делает?

— Сторож-то?

— На погосте.

— Значит, краулит. Женя молчал.

— Кого ж караулить? Все покойники.

— Так уж, значит, краулит.

— А что,— вдруг спросил он,— когда мы умрем, нас туда же положат?

— Тебе-то еще долго жить,— сказала Настасья, вздохнула.

Больше Женя не спрашивал. Он стоял, упершись лбом в стекло, и думал. Что там такое будет? Пройдет десять, двадцать, пятьдесят лет — он станет такой же старенький, как эта Настасья, а где будет тогда Настасья? Где мама будет? «Мама!» — чуть не закричал он. Ледяная мысль пронзила его. Что будет с мамой? Вдруг умрет мама теперь же, через месяц, год? Этого он не мог вынести: как стоял у окна — залился долгим плачем, долгим,

неутешным.

Прибежала мама, его ласкали, утешали; он ничего не говорил. В ужасе держался за мать, плакал, не переставая твердил: «Мама, мама!»

Много раз с тех пор, в зрелые годы, думал он об этом, но тот вечер, когда впервые был поставлен такой вопрос,— тот осенний мрачный вечер с огоньком на кладбище нельзя было вычеркнуть ничем.

## VI

Для человека в десять лет «мама» обнимает три четверти жизни. Встает ли он утром, учит ли немецкие слова, ест ли за завтраком котлетку с огурцом, сражается ли с сестрой в свои козыри, охотится ли, слушает ли сказку, ложится ли спать, страдает ли, здоров или болен — всегда, на всех путях его маленькой жизни за ним следит светлый Дух — мама. Быть может, ее нет в тот, иной момент. Она может уехать в гости, уйти в амбар, на птичник — но это ничего не значит. Ее можно найти, прибежать к ней, разрыдаться в ее объятиях, если случилось что-нибудь ужасное — например, убили любимую собаку, или кучер обидел Друга Романа. Но у ней будет найдено утешение и защита. Мама не может быть несправедливой. Если друг Роман действительно невиновен — кучер понесет свою кару.

Когда маленький человек заболел, на ее лице ложится тень. Мама спокойна, сдержанна, но волнуется. Посоветовавшись с фельдшером Астахом, она даст хины, положит компресс согревающий, смеряет температуру черненьким термометром — под ее умелыми руками не может болезнь не поддаться. А глухой ночью, когда от жары начнется кошмар, она наклонится, в белой кофточке, возьмет к себе на постель, и при ней духи тьмы не осмелятся приблизиться.

И первая, кому радуется и кого любит выздоравливающий ребенок, это та же мама. По ее лицу он видит, что прошло тяжелое и вновь пойдут утра и игры, ясные зимние дни, коньки, лыжи, белые морозы и иней.

В большом доме, где копошатся дети, снова и постоянно проходит светлым видением она — далекая от радостей, ясная, вся в любви мама.

## VII

Зима! Это значит, что все заваяно ровным белым снегом, остро вкусен воздух, небо приятно-свинцового тона и летают вороны. Это значит, что для детей настал новый ряд радостей — зимняя жизнь и зимние удовольствия, лыжи, коньки, салазки, а вдали, где-то на границе двух годов,— Рождество.

С новым сезоном столяр Семиошка получает новую работу: должен подмораживать скамьи для катанья.

Дети забирались в мастерскую — там пахло клеем, древесными стружками, было жарко и работал старик Семен с веревочкой вокруг головы.

— Дядя Семиоша, а дядя, пора!

— Сделал бы скамеечку!

— Значит, не можем. Значит, барину полозья выгнем, и значит, тогда изготовим.

Но, конечно, он уступал и, намазав низ скамьи навозом, поливал водой. Получалась ледяшка. Дети бежали к друзьям, на деревню; друзья тащили самодельные скамейки,— начиналось игрище.

Садились все вместе у околицы, между домом и церковью. К речке шел далекий, ровный спуск.

Сначала подталкивали скамьи ногами, но чем дальше, тем сильнее, плавней ее ход. Осталась налево сажалка с незамерзавшим ручьем, где бродят гуси, вытягивают шеи и кричат. Скамья бочит — удар ногой, и она снова на пути, вот все быстрее, быстрее в надвигающихся сумерках летят ребята, вот не удержались — все вверх ногами кувыркаются

в снег. Визг, хохот. Надо вылезать, тащить в гору свои экипажи, снова мчаться.

Дети распыхались, глаза горят, в валенки набился снег; пахнет зимой, радостью, дубленным тулупчиком Жени. Издали светит дом; верно, скоро там будет чай, к околице выйдет Лина в короткой кофточке, и придется возвращаться.

При сияющей лампе, в столовой, дети будут наперебой болтать о восторгах катанья, запихивая за обе щеки белый хлеб с маслом. Отец выйдет после дневного сна и выпьет свою порцию — чай с молоком и вприкуску маленькие кусочки сахара. Потом он пойдет набивать патроны к завтрашнему дню. Переводя дух, глядя, как сильные руки отца забивают пыж в гильзу, стоит сзади Женя. Или, быть может, они станут топить в камине свинец для пуль и эту жидкость, как ртуть, лить в пулелейку. А выше, на полке мастерской, полусработанный стоит маленький бриг. Следить за работой отца такое наслаждение!

Лягут спать вовремя; перед сном Лиза Толстенякая с Соней проскачут в рубашонках у себя в комнате, будут хохотать, шептаться, опять ненавистный «бим-бом» долетит до слуха Жени. Но быстрый, здоровый сон возьмет всех.

Мама проработает до двенадцати. Позже всех, обойдя дом и заперев все двери, ляжет отец. Он выйдет на крыльцо, послушает. Если утки кричат на сажалке, вернется, возьмет револьвер и пойдет взглянуть: не волки ли,— отец ничего не боится.

И возможно, когда уснет и он, в своем кабинете, где висят ружья на рогах над медвежьей шкурой, завесившей стену,— может быть, тогда волки и придут. Был даже случай, что один подошел к самому кабинету. След указывал на это с точностью. Но боги хранители дома, русские лары, не дадут в ночной час неблагополучия.

## IX

Рождества дети всегда ждали. Рождество, святки для этого народа полны счастья, сказочности, необычного.

С самого утра казалось, что наступил день даже другого цвета, чем обыкновенные. Те дни серые или белые, а этот — острый, жуткий, ему не найдешь краски.

Волнения начинались с постели. Во-первых, были они о попах, во-вторых — о подарках и елке. Попы волновали тягостно, с оттенком подчиненности. Дети смирили, крестились, а Женю вид риз, камилавки, кадила ошеломлял. Батюшка бывал любезен, пил после молебна водку, закусьвал пирогом, но все же это был тот странный человек, который облачается в золото, при пении произносит малопонятные слова и присутствует на крестинах, свадьбах, похоронах. Заместитель кого-то еще более страшного и неизвестно где находящегося.

Подарки и елка — другое дело. Всякому лестно получить «Дон Кихота», или, может быть, пушку, новых солдат.

А когда наступят сумерки, ждать с Соней и Лизой Собачкой у дверей залы! Рано или поздно их откроют; тогда свет ударит по глазам, мама, смеясь, будет целовать, а в дверях напротив — друзья — Романы, Федоты, и знаменитый бегун Ваня-Ахиллес, которого привозят иногда в гости из соседнего села.

Этот вечер принадлежит детям. Если б взрослые захотели читать, работать, разговаривать,— из этого ничего бы не вышло. Как угорелые носятся дети по всему дому, состязаясь с бегуном Ваней. Как они пылают! Сколько азарта, нерва в этих взвизгивающих рожицах, как страшно притаиться за углом и ждать, пролетит ли Ахиллес мимо, или цапнет. А потом травят Ахиллеса, подстерегают, вступают в союз, чтобы поймать его.

Так проходит первый день. Но за ним есть еще второй, третий, Новый год, святки. Придут еще ряженные, всегда одни и те же козы, медведи и лошади. В свободные дни, над которыми Лина пока не властна, можно будет почитать «Дон Кихота», сидя с ногами на диване, мечтая о неизвестных странах и людях. В тишине этих грез впервые и едва видимо проступят какие-то виды — дальше игр и беготни. И не раз детское сердце, очарованное книгой, заглянет в трепете в область взрослых — туда, куда путь ему еще заказан.

## Х

С вечера все были веселы; рассматривали старую «Ниву», спорили о рыцарях, изображенных верхами. Лиза Толстенькая была за белую лошадь.

— Мой конь, мой конь!— твердила она, мусоля пальцем белого рыцарского коня.

Соне тоже больше нравился белый, и, как часто бывало, Женя остался в меньшинстве.

Наутро перед уроками Лиза вдруг заплакала. Легла ничком на диван, развела целое озеро слез.

Трудно было добиться толку; наконец поняли — она больна. Вспухло горло, и температура поднялась до сорока.

Так началась скарлатина, обратившая дом на полтора месяца в больницу.

Лизу Толстенькую быстро увезли. Ее закутали в десятки шуб, закрыли с головой, положили в возок и с фельдшером Астахом отправили на Шахту, рудную контору, куда ездил отец. Жаль было Лизу. Дети смотрели, как возок катил вниз к речке, как взбирался на той стороне, мелькая черной точкой. Но скоро пришел и их черед. Первой слегла старшая, Маня, гостившая после Рождества, уже гимназистка. Через неделю захворала Соня, потом Женя. Скоро всюду в доме были спущены шторы, дети стонали в жару, их поили микстурами. Мучила рвота. В эти дни часто и надолго уходило от них окружающее, и шла странная, темная, своя жизнь. Но в нелепом хаосе безошибочно узнавали они маму в белой кофточке.

Наконец Маня начала выздоравливать. Ей читали вслух, и раз как-то отец привез вести о скучавшей Собачке. Это были стихи, сочиненные для нее Астахом. Начинались они так:

Вот вам, Лиза, «Вокруг света»,  
Почитайте пока это.

Женю же в это время еще отпаивали бульонцем. Он стал худ, желт, печально сдирал он чешуйки с рук и складывал в кучки. Глядеть на свет было больно — и в полутемной комнате он вспоминал о снеге, Лизе Собачке, коньках, ружье. Его очередь наступила не скоро.

Но выздоровление пришло, и ему надолго запомнилось то утро, когда в первый раз ему надели валенки, халатик, и, стриженный, едва держась на ногах и хватаясь за печку, стулья, чтобы не упасть, он вышел в соседнюю комнату. Отсвет снега лежал на всем. Февральское солнце сияло туманно. С крыш капало. Он увидел подряд три комнаты, и в последней стол, накрытый к обеду. Все было белоснежно и прекрасно, точно, как и он, сняло серые чешуйки, показывая свою настоящую прелесть.

Ряд знакомых комнат показался Жене анфиладой, с сияющим, как для пира, столом. От восторга он слегка задохнулся. Что-то в его сердце трепетало; снова жизнь, еще милей и ослепительнее прежней, а тяжелое отошло.

Он пошатнулся. Прибежала мама, Дашенька.

— Мама,— сказал он.— Я здоров.

И он повис на ней. Мама его целовала.

## ХІ

Взрослые не понимают природы. Они не знают весны, лета, осеннего очарованья. Все это для них было, и жизнь их охвачена равнодушием.

Для ребенка природа есть просто часть собственного существования. С весной он борется против зимы. Каждый удачный день для него радость, и он огорчен, если в начале апреля при хорошей погоде выпадет снег.

В марте улица перед домом мутнела. Ноздреватый снег шуршал, тая. Протыкались лошади, навоз рыжел. По-особенному кричали галки; девятого марта пекли жаворонков.

И тогда опять трудно становилось учиться. Звало на улицу неяркое солнце, туманно млевшее в испарениях. Тронулись ручьи; надо было их расчищать.

Женя делал это с серьезностью и добросовестностью. Ему казалось, что он тоже помогает весне, милому и светлому духу, веявшему кругом.

Когда в полезность его труда не верили, он сердился.

— Ведь вода скорей сойдет!— говорил он.

— И без тебя сошла бы.

— А если я буду помогать, все-таки скорей. Отец улыбался.

— Да кому это нужно?

— Ах, ты ничего не понимаешь.

Станный человек отец: ему все равно, наступит весна сейчас или на два дня позже.

Ракиты у прясла выпускали пушки и краснели. Вдали, на реке проступала вода. Женя засматривался. Через неделю, при таком ровном, бледном тепле, взломает лед, вода выйдет из берегов и ночью будет слышен веселый шум — половодье. Он спускался к сажалке, смотрел, как взбухает лед, как обтаяли откосы и под солнышком на них пробивается крапива. Возвращался с Шахты домой отец — в санках, обветренный и здоровый. Женя кидался к нему, целовал в свежие усы, и вместе они въезжали домой.

— Скоро речка?— спрашивал он.— Скоро тронется? Через два дня?

Взрослые всегда не верят.

— Куда там,— отвечал отец, пуская синеватый дым,— неделю продержится.

— Ты вот говорил, что нынче мой ручей замерзнет, а он и не замерз.

— Какой ручей?

— Главный.

— Главный ручей! Отец усмехался.

Но скоро снег сошел, речка вскрылась, мощный поток гудел под мостами, заливая по лугам шоссе, топя ивняк. Отец доходил до разлива, переезжал на лодке с рыжим Степаном и на той стороне ехал верхом.

Что за роскошь — плыть за отцом в баркасе!

Здесь с Женей был случай, взволновавший всех. Баркас отчаливал. Было видно за рекой, как отец с малым подъезжают верхами к воде. Женя прыгнул в лодку; Степан с мужиком двинулись на шестах. Весело было проплывать над кустами, которые гнуло напором, видеть, как несутся льдинки; слушать шум могучей воды.

Так добрались до середины. Справа мост на сваях, под него бьет, ревя, стремя. Видно, как отец слез с лошади, отдал ее работнику. Вдруг берег, отец, деревья за ним иачинают нестись влево, по горизонту. Степан налег на шест, мужик возится, но берег летит все быстрее. Женя оглядывается. Степан бледен. Мужик тоже растерялся. Впереди в двадцати шагах мост, гул воды в сваях. Хочется крикнуть, позвать маму. Но поздно. С размаху лодка бьет о первую сваю, о вторую, мужики беспомощно хватаются за них. Еще удар. Дощаник скрипит, медленно клонится. Женя сидит на дне, над ним сваи и балки моста, темнота... перевернется ли? Мужики отпихиваются изо всех сил. Где отец с лошадьми, где дым его папироски? И вдруг сейчас ничего не будет? Где мама?

Мама из далекого дома видит все, и уже она бежит, задыхаясь, вне себя, к разливу. Не успеть!

Счастливым поворот,— лодку стрелой выносит из-под моста, и снова шесты действуют, опять виден отец, и через пять минут по заводи они плывут к берегу. Женя все не может сесть на лавочку; перед глазами зеленые круги.

Через час дома слезы, ласковые упреки, тишина, отдых.

Больше встречать отца не придется!



Весна, лето. Время молодой жизни, когда для детей все сливается в ласковый привет неба, воздуха, солнца. Когда дни кончаются так же легко, как встает утром солнце,— оставляют в душе длинный, светящийся след.

Этих дней уже нет. Не пахнет уже так река с ивняком. Нет тех игр, нет вечерних коростелей, закатов за Высоцким заказом, нет отца на дрожках, Вальтона, Масетки; нет стада, входящего вечером в деревню, золотистой пыли под вербами, Дашеньки, Гришки.

И не будет никогда ружья, стрельбы в воробьев, верхового конька Червончика, на котором можно ездить в обратке, а он нейдет из дому — домой же мчится вскачь и его нельзя удержать. Не будет охоты с Гришкой в Сопелках, когда удрала Коза с дрожками и пришлось идти домой пешком, за пять верст, лесом в темноте; было страшно, и к концу Женя так устал, что Гришка взял его на закорки; с ружьями, парой убитых уток, в одиннадцатом часу они плелись по деревне — маленький на большом, дремля, измученные и несчастные.

Все это было так давно, что легендой веет от воспоминаний; и кажется, что уже нет и самого села, и дома, и другие поля, другие леса вокруг, другие люди живут на том месте. Но из седой были человеческого сердце слышит все тот же привет — чистый и прозрачный. И жизнь идет далее.

### ХІІІ

В середине зимы отца перевели на соседний завод, верст за сорок. Сперва уехал он сам, потом начались сборы и укладыванья семьи. В комнаты натащили ящиков, и началось разрушение. Горько было видеть, как со стен снимали фотографии, зашивали в рогожу диваны, сдирали портьеры. Милый, старый дом, с которым многое уже было связано, разоряли. И вместе со спрятанными солдатиками, с рисунками лошадей, коз удалялась часть жизни, еще такая малая и юная, но уже дававшая о себе знать.

За день до отъезда Женя прощался с друзьями, с играми, с любимыми местами. Он обошел на лыжах большой сад, сошел к сажалке; как всегда, незамерзающим ручьем бежала оттуда вода. Вот развалины сахарного завода, откуда с Собачкой и Соней они носились по отвесному скату на лыжах; налево церковь, погост, и внизу луга — такие безбрежные и ясные летом, а сейчас это белая равнина. Он хотел было съехать на лыжах с горки, в последний раз, но что-то защемило в сердце и, вздохнув, он вернулся домой.

Ужинали при свечах — ламп уже не было. Голые стены, натопанные полы, черные окна. Женя поскорей лег спать. Но и заснуть долго не мог. Встал он на другой день бледный и печальный.

Было уже подано двое саней. Мужики собрались провожать. Из дому тащили последние вещи и грузили на подводы. В кухне Дашенька плакала, целуясь со своими приятельницами с Поповки, «женами мироносицами».

Соню и Женю одели в полушубки, завернули в тулупы,— как безмолвные туши были они втиснуты в сани. Скрипел снег, солнце блестело. Больно было глядеть от света. На повороте, в околице стояли группой мальчишки и кланялись. Женя вспомнил, что он ничего не подарил на память Настасье, игравшей с ним преданно, и вздохнул.

Но было поздно. Лошади, хорошо кормленные перед дорогой, шли бойко; сияла снежная равнина, в лицо из-под копыт летели комья — тройка дружно взнеслась на мост, где прошлой весной Женя терпел аварию. Высунувшись, насколько мог, он обернулся: вдали на горе белел двухэтажный дом, у околицы как будто копошились фигурки. Горло Жени сжалось. Чтобы не выдать себя и рассеяться в меланхолическом излиянии, он замурлыкал:

Дорогие мне места, где я про-жил годы детства,  
Вас увижу ли когда, иль поки-ину на-авсегда? —

слова старого романса, который он недавно слышал.

— Не пой,— сказала мама, улыбнувшись,— простудишь горло.

Он напевал про себя, и все время ему хотелось плакать.

#### XIV

Жизнь на новом месте оказалась не хуже, если не лучше, прежней. Правда, не было старых друзей — Вальтона, Настасьи. Лизу Собачку увезли к родителям. Но явилось и то, чего раньше не было.

Здесь отец управлял заводом. Ему отвели огромный дом, куда можно было вместить два прежних, на берегу озера. На полторы версты шла ровная снежная скатерть; на горизонте лес синел. За гигантской плотиной лежал завод, чернели крыши, двумя огромными столбами возвышались доменные печи. Все это было необыкновенно и привлекательно. Несколько раз отец брал с собой Женю на завод. Они выезжали в «дежурке», у ворот завода сторожа подобострастно кланялись отцу — и дальше они попадали в казавшееся Жене ужасным царство печей, огня и железа. В одном месте бил молот по раскаленной мягкой глыбе; вздыхая, она оседала, стреляя золотыми звездочками. В прокатных вальцах вытягивались огненно-красные ленты; это будущие рельсы. Литейщики ждали выпуска чугуна, и когда отворялась утроба домны, оттуда лился ослепительный металл, от одного прикосновения к которому загорались щепки. Рабочие подбегали к струе, подставляли черпаки и рысью, покачиваясь, чуть не расплескивая жидкость, бежали к опокам, выливая туда чугун.

— В прошлом году был случай,— говорит отец,— один залил себе за сапог. Теперь мы не позволяем в сапогах ходить.

Женя бледнел, представляя себе сожженную ногу, крепче держался за отца. После всех этих литейных, механических, ремонтных — радостно было опять сесть в санки и по чистому снегу катить мимо базарной площади, церкви, по набережной озера — домой. Вот на углу «господский дом» — отель для одиноких инженеров, где всем управляет толстенная Евдокия Ильинична. Красный дом доктора, и, наконец, они у своего подъезда. Выбегает старый Тимофеич, отстегивает полость. И уже ждет обед, в огромной столовой, переделанной из зимнего сада, со стеклянной стеной на озеро. После обеда можно уйти наверх; верхний этаж меньше нижнего — нечто вроде мезонина; но там две огромные комнаты — Жени и Сони, и большая средняя, где трапезии. Из Жениной снова видно озеро. Оно тянет к себе взгляд ровной белизной, великим спокойствием снега, умиряющего заводской гомон. В этой светлой теплой комнате можно мечтать, глядя на дальние леса, рисовать, ожидая, что вот нарисуешь что-нибудь замечательное,— и незаметно снежное поле засинеет, настанут сумерки, чай среди милых сердцу, вечернее чтение «Красного кедра», «Дальнего Запада». Неведомые края, приключения, охоты затолпятся в мозгу, и станешь просить маму скорее послать в уездный город менять книжки — к старому еврейчику, у которого такой запас чудесного.

Когда ложатся спать, в комнате Жени розоватый отсвет. Это далеко, за плотиной, полыхают над домнами языки газа; как два громадных факела, будут они краснеть всю ночь, освещая завод, село, белое озеро.

Может быть, их увидит лось, если подойдет к опушке дальнего леса — и в ужасе помчится назад. И, во всяком случае, видны они на много верст едущему темной ночью.

#### XV

Вечером в субботу отец сказал: «Завтра едем на буер». Женя радостно волновался, а утром, проснувшись, увидел на озере трехугольную платформу на коньках, с парусом. Толпились любопытные, у мачты возился полковник Говард, начальник мастерских,— человек лысый, веселый и решительный.

Одеваться и пить чай при таких условиях было трудно. Как-никак это то же самое, что

описано у Жюль Верна в «Вокруг света в 80 дней».

Отец тоже был весел, смеялся и говорил:

— Ну, Говард, не завезите нас в полынью.

— Перескочим.

Однако Говард как раз был знаменит неблагоразумием; недавно был случай, когда он на серой кобыле чуть не провалился в воду.

Наконец буер готов, отец с Женей садятся на платформу, на руле Говард. Сначала толкают двое рабочих; медленно и как-то вяло под напором ветра плывет зимний корабль, чертя коньками. Вот обширная лысина, с которой снег сдут. Сразу буер подхватывает, дышать трудней, но какой легкой, волшебный полет! И теперь неважно, снег дальше или лед, как вырвавшаяся птица летит снаряд в белом просторе, и лес на той стороне растет, выступает, вот видна уже лесопилка. Перекинуть парус — буер выпишет дугу и пойдет назад, но уже тише, лавируя под ветром зигзагами.

— Замерз?— спрашивает отец.

Женя храбрится, но, в сущности, ногам холодно. Через полчаса они возвращаются, Говард катает немного девочек, а потом идут завтракать. Отец с Говардом пьют водку, крикают и рассказывают охотничьи истории. Маня, приехавшая перед праздниками из гимназии, слушает их пренебрежительно. Она теперь взрослая, учится в Риге, и на полках у ней стоит Гете по-немецки. Соничка с Женей забираются к ней наверх. Маня мечтает о курсах, через два года ей хочется в Петербург, но родители не знают еще об этом, и на мягком диване, при треске камина, идут долгие рассказы о незнакомой жизни в большом городе, студентах, учителях.

Приходит Зина, Манина подруга, дочь заведующего конторой. Разговор быстро сходит на «умное». Все республиканцы. Почему должна быть республика?

Потому что нельзя давать власть одному; сто человек вернее не ошибутся. Соничка тоже настроена радикально и, входя со своей косицей подростка, говорит: «Не понимаю я этих консерваторов».

Жене хотелось бы поспорить; отчасти он смущается, а кроме того, ничего не знает в этом деле. Все-таки он защищает монархию; аргумент такой: у Эмара он вычитал, будто в американских республиках избирателей подкупали. Девочки нападают, и он разбит довольно быстро. Кроме того, ничего не возразишь, что одному ошибиться легче, «чем Конвенту», как говорит Маня.

Но разбитием он не очень огорчен. Вечером срисовывает «типы домашних животных» и мечтает о пробе своих сил на лицах: скопировать бы мамину карточку или Чичикова из альбома Боклевского. Вдруг «выйдет замечательно».

## XVI

И снова сменяются днями дни, летит невозвратное время среди работ, игр, младенческих мечтаний.

На святках здесь еще шумнее, чем было раньше. Приезжал на завод цирк — Женя с Сонечкой увлекались им до одури. Каждое представление были они в балагане; пахло лошадьми, опилками арены, дымили железные печурки. В полушубках, горя и блестя глазами, сидели дети в первом ряду. Им казалось все это беспредельно острым, азартным и прекрасным; до остервенения хлопали они наезднице Эле и, вернувшись, в большой зале разыгрывали пантомимы, кувыркаясь, визжа.

Лишь одно смущало немного Женю: слухи о гимназии. Далеко, верст за полтора (если ехать на лошадях), был губернский город, и, насколько он понимал, будущей осенью тронут туда всех детей. Соничка начала уже готовиться. К ней ходила фельдшерица Мясова, с круглыми блестящими глазами и запахом больницы, и решала бесчисленные задачи. Жене нравилась эта плотная, чистая девушка, но и смущала несколько аккуратностью и непреклонным блеском глаз. Женя думал, что она без запинки может

решить все задачи в мире. С ним она проходила именованные числа.

Он не понимал, к чему все это. Лучше б кататься на коньках, рисовать, вертеться на трапеции, ходить в цирк. Но раз уж заведено, что надо решать задачи,— он решал. Проводив Мясову, вздыхал с облегчением и шел спрашивать отца, поедут ли завтра кавалькадой.

Делать это удобней всего было в марте, когда теплело, чернела дорога и озеро вздувалось. К крыльцу подавали лошадей: гнедого Немца Жене, отцу — Скромную. Волнуясь, лез Женя на коня. Тимофеич держит стремя, где-то кричат грачи, новый друг, мальчишка Гром, глядит из кухни, ковыряя в носу. Образец езды в отце. Главный его завет — не расставлять врозь носков, подыматься в такт. Вот к ним присоединились у господского дома Говард на серой кобыле и механик Павел Афанасьич. Говард сидит кряжем, серая кобыла его дурачится, и когда пускают полной рысью, она вдруг начинает вертеть хвостом, как крыльями мельницы.

— Говард,— кричит отец,— подбери кобылу!

Но Говард хохочет, Павел Афанасьич жалобно подпрыгивает, молотя сиденьем по спине своей лошади,— кавалькада идет резво, навстречу серому весеннему ветру, вдыхая очаровательный запах луж, острого мартовского навоза и радуясь силе хода.

Разные случаи бывали в этих поездках: скакали по чистому полю, перепрыгивали через канавы; раз Павел Афанасьич приподнял знакомому котелок, испугал лошадь, и от ее курбета легко и вежливо — сам он всегда был такой — слетел вниз головой в грязь. Женин Немец проткнулся на мосту, на полном ходу, и Женя съехал ему на голову. Чуть не все падали, или их носили лошади, обрызгивала хвостом кобыла Говарда — но всегда смех, счастье силы и ловкости владело ими и, как мартовский ветер, оведало бодростью.

Женя возвращался усталый; у него ныли ноги и руки вздрагивали, но это было ничто в сравнении с азартом езды.

## XVII

С конца марта чуть не каждый вечер ездили на тягу Говард, в черкеске, с газырями и двустволкой через плечо, мчался вперед на своей кобыле. Женя с отцом в тележке, Павел Афанасьич в дежурке. Ехали вдоль плотины; на шлюзах гудела вода, пруд синел, медленно поплескивая у берега; вдали виднелись леса, и в их дебрях терялось озеро, среди камышей, кувшинок, болот; что-то гомерическое было в этом озере; казалось возможным, что за его истоками лежат леса Дальнего Запада, или живут гуроны, ирокезы, как вокруг Эри и Онтарио.

То, что на охоту ездили вооруженным отрядом, усиливало впечатление первобытности.

За озером подымались в гору, сворачивали па дорогу, к Горской мельнице и на опушке большого леса слезали. Тяга будет над мелочами. В прогалинах осинника, вдоль ручья, у всех были свои излюбленные места. Павел Афанасьич забывал пистоны, или у него был испорчен шомпол. Он конфузливо просил, охотники поддразнивали.

Сквозь осинник краснела заря; остатки снега таились в ложках, тихо тая; кажется, можно было слышать их умиранье; голубел подснежник, черныш токовал вдали. Мирный вечер, первая звезда на бледном небе, запах влаги, бег робкого зайчика, огонек отцовской папироски! Это весна, молодость,— это невосвратимо.

Хоркая, с присвистом, тянут над лесом вальдшнепы. Бедные птицы,— гонимые любовью, они в сладких сумерках встречали любовь редко, а чаще — смерть. Блистал огонь сквозь деревья — вальдшнеп делает боковой вольт, как безумный мчится он в сторону. Верно, он ранен, но тогда не дастся уже в руки. Где-нибудь в тайной лощинке, вздрагивая крыльями, с каплей крови на длинном носу он встретит последний час. Или он замер в воздухе — значит, «готов», как говорят охотники,— камнем валится вниз.

Все это волновало; с увлечением стрелял Женя, дрожал от ожидания, но почти всегда неудача; почти всегда. Он запоминал число промахов, страдал, выводил процентное отношение к числу удач, но всегда выходило, что он безнадежно бездарный охотник. Так,

мазило.

Возвращались в темноте. Звезд было уже полное небо; острее пахло весной; ручьи шумели, издали открывались огни завода и торжественные отражения их в пруду. Ужиная дома, ели свежую редиску из парников, отец с Говардом пили водку и рассказывали о былых временах, еще более блестящих и страшных охотах, медведях, лосях.

Сестры относились к охоте с презрением. Вальдшнепов, однако, ели все.

## XVIII

Светлый майский день. Пруд бледно голубеет, заводской дым треплется в теплом ветре. Женя смотрит с балкона на озеро. В зале, внизу, играет на рояли гувернантка Софья Ивановна. Женя представляет себе ее милую фигуру — с большими, музыкальными руками, запахом духов, и ее музыка еще прекрасней. Опершись щекой о перила, глядя в синеву, можно мечтать размычиво и безбрежно — как простор этот легок, как благоуханен воздух! О чем мечтает человек? О том, какая будет жизнь, кем он будет. Вдруг он делается художником и сумеет рисовать «с натуры» портреты? Или встретит... кого-то. Ту, о которой еще не знает, но которая где-то есть — взглянув на нее, можно сгореть от стыда и радости. Нечто в ней — и от Софьи Ивановны.

С ветром донесся звон. Колокола мешаются с музыкой, на припеке кудахтают куры по-весеннему — нынче воскресенье, оттого все и веселы. Сбежав вниз, Женя ждет среди струящихся березок почтальона. Сегодня принесут журнал, Жюль Верна. Этот день очень интересен. Прошлый раз колонисты отправились на соседний остров; там нашли странного одичавшего европейца. Неужели это Айртон?

В двенадцать почтальон является. К сожалению, надо обедать; зато после обеда, забравшись на диван с ногами, холодея от волнения, глотает он Айртона. Как жаль, жаль, что мало! Конечно, это Айртон, высаженный в наказание на пустынный остров, но кто же известил колонистов? Откуда бутылка, указание долгот?

От возбуждения надо пройтись. Можно бродить в аллеях, в парке, среди нестарых зеленых лип. Еще лучше — уехать в лодке. Для этого надо взять друга Грома, ключи, скользнуть незаметно, чтобы кто-нибудь из взрослых не помешал. К четырем пруд затихает, становится светлым зеркалом; чуть двигая веслами, можно гнать долбленку довольно быстро. Минувя село, выедешь к лесу, пристанешь у песчаной косы. Тут дивный воздух; лежа на спине, среди елей, на мягком мху, видишь, как летают Рыболовы. Гром, подсучив штанишки, ловит под корягами Раков. Вдали пыхтит лесопилка, с плёса в камышах поднялась пара уток. Дятел долбит ель; пролетит сиворонка.

Лежать бы до вечера, любуясь озером, собирая редкие камешки, да хватятся к чаю, мама будет беспокоиться. Надо ехать. И плывут снова. Вечерний чай пьют на нижней террасе. Софья Ивановна с Соничкой щелкают шарами на крокете. Гром отворил фонтан; в блеске заходящего солнца играет его струя.

— Женя,— говорит Софья Ивановна, улыбаясь и щури глаз.— а вы знаете слова к завтрашнему?

Женя слегка смущен.

— Я выучу, Софья Ивановна, обязательно.

Она щечочет его большой мягкой рукой по щеке. И конечно, он выучит. Софье Ивановне не знать урока неприятно.

## XIX

С приездом Жука веселые дни кончились. Это был маленький черный философ украинофильского вида, приглашенный для латыни. Он был доброго права; жил во флигеле, Жуком звался за размер и черноту, и все было бы хорошо, если бы не учебники Кюнера, не спряжения и десятки слов, которые приходилось учить. С грустью глядел теперь Женя на

озеро, лодку; из-за Жука вырисовывался вдали неизвестный город, казавшийся громадным и страшным, гимназия, учителя, жуткий и ненужный труд. Отвечая урок, путаясь в словах и краснея, он смотрел из прохладного флигелька на цесарок, копошившихся в пыли,— и хотелось удрать куда-нибудь в парк, резать липовые побеги и выделявать из них свистульки.

Но задумаешься и как раз собьешься в склонении — третье склонение разве легко!

Он уставал, худел, падал духом. Первый месяц работ был особенно труден. Лишь один день выдался необычайный. С утра Женя раскис, встал с больной головой, и ему позволили не учиться.

Шел дождь — сильный, теплый. Он стоял на своем балконе, смотрел на озеро, дымившееся брызгами, вздыхал, а потом неожиданно пошел в комнату и взял Тургенева. Случайно открылась «Первая любовь». Он читал медленно, неохотно вначале, потом забыл хворость, Жука, гимназию, даже Жюль Верна, и читал послушно, не себе уже принадлежа, улыбаясь про себя, краснея. Было бы очень неприятно, если б кто-нибудь вошел. Но в огромном доме тихо; через два часа он кончил, вскочил, и побежал вниз. Все так же не хотелось ни с кем встречаться,— быть одному со своим сердцем. Дождь перестал. Листва казалась нежно-вымытою, бледно-зеленоватый туман стоял в парке; было сыро, тепло, падали капли с листьев. Жене казалось, что он был влюблен в Зинаиду, что на оранжерее сидел он, и прыгнул, и Зинаида его поцеловала, и с кадетом он играл, и до боли видел он рубец от хлыста на ее руке. Этот удар вызывал такое страдание, что невидимого, неизвестного отца он готов был убить. Да, конечно, он прыгнул бы и с гораздо более высокой оранжереи, и у ног Зинаиды он умер бы с гордостью и радостью.

И со светлой тоской в сердце, с навертывающейся слезой бродил он в зеленом саду; весь этот день окрасился для него бледно-зеленоватым. А видение — Зинаида — осталось на всю жизнь. Это была первая великая радость искусства.

## XX

Утром, в четыре, Тимофеич разбудил отца и Женю. Они спали в кабинете; Женя на диване, отец на кровати. Ветерок с озера вздувал занавеси, только что показалось солнце. Хотя глаза слипаются, но нельзя не быть в восторге от этого утреннего благоухания, от теплого золота и сознания, что едут на охоту. Наскоро умывшись, пьют чай на балконе. Здесь еще холодок, сад в матовой росе. Белый хлеб с маслом, чай со сливками. С озера слышен свисток: это «Капитолина», пароход, на котором едут. Значит, пора. Хотя пароход свой, заводской, и уйти без них не может. Жене кажется, что они опоздают, и, волнуясь, торопит он отца.

— А экстрактор (Приспособление для извлечения из патронташа гильзы или патрона)

взял?— говорит отец.— Да пистонов захватывай, наверно пригодятся Павлу Афанасьичу.

Смеясь, они быстро идут с ружьями и патронташами к пристани. Старая Норма бежит косою побежкой, морща нос. На борту Павел Афанасьич, Говард и кузнечный мастер Дрезе. Это черный добродушный человек с волосатыми руками.

— Ну, пора же, пора,— говорит он, здороваясь.— Ну, надо же ехать, а то же опоздаем и к уткам.

«Капитолина» отваливает. Проплывают вдоль берега, мимо купальни и дома, где сейчас спит мама, Соничка, во флигеле — Жук, — и под мерное бормотанье колес идут в глубь озера, в безлюдные притоны уток, бекасов и дупелей. Жене кажется, что Павел Афанасьич — рассеянный астроном Николай Полландер, Говард — Джон Муррей, а отец — полковник Эверест, и они едут к верховьям реки Оранжевой, измерять дугу меридиана.

Час, два плывут по голубым водам. Скрылся завод, вода сузилась, ближе подошли

леса и чаще сплошные ковры кувшинок; иногда «Капитолина» рассекает их даже.

— Я же на этом островочке прошлый год десять штук взял! Николай Петрович, тут же выводочку быть да быть!

Убавляют ходу, отвязывают лодки, и Дрезе с охотником Яшкой «берут» остров. Объезжают его сбоку, а «Капитолина» обходит с другой стороны. По берегу, в камыше, бредет собачонка Дрезе. Слышна его брань, свист, всплески весел, но уток нет.

У борта Женя с отцом зевают.

Островок прошли. Подплывает Дрезе, ругаясь на собачонку.

— Ну я же так и знал, что тут ничего нет! Ну, зачем же было задерживаться!

— Вы же сами хотели!

— Я же тут выводочек взял, а теперь ни одной утеночки!

— Хе-хе,— смеется Говард,— вы, Дрезе, известный счастливец!

— Если бы я знал же, я б не остановился! Только время же теряем.

Плывут дальше. В верховьях, у мельницы, где собственно и начинается охота, пароход пристает. За мельницей тоже пруды, но там надо ехать уже в лодке. Разыгрывается день, солнце слепит, на темно-синей воде качаются челноки, и кой-где белеет барашек. Ветер озерный — пахнет болотом и рыбой. Подойдя к камышам, сталкивают Норму в воду. Она брызгает, барахтается, но скоро охотничий азарт захватывает ее, и резво шмыгает она в осоке, туря уток. Павел Афанасьич идет берегом — ему придется стрелять влёт. Вдруг он видит двух утят, бурно шлепающих по воде от берега. Он целится.

— Не стреляйте же, не стреляйте!— кричит Дрезе.

Павел Афанасьич ведет ружьем за ними.

Дрезе падает на дно лодки.

— Дрезе подстрелите, что вы делаете! Он обертывается. Это кричит отец.

— Почему же? Я не понимаю!

Как всегда, он вежлив, и как будто в перчатках.

— От воды отразится — весь заряд в него закатите!

— Ах, вот как, а я не сообразил! Дрезе подымается из лодки.

— Ну и что же это такое, вы же сынишку сиротой сделаете!

В полдень завтракают на берегу. Бутерброды, огурцы, ветчина кажутся такими вкусными. Печет солнце; Норма с порезанным носом тяжело дышит, вся в грязи, мокрая. Охотники пьют водку.

— Плохи стали места энти,— говорит Яшка.— Тут бы гору птицы надо набить.

Он уныло взглядывает на несколько утят и селезня. Дрезе сердится:

— Ну я же так и говорил!

После завтрака снова шарят в камышах; собаки устали и лазают лениво. Уток мало. Для развлечения Женя с Павлом Афанасьичем палят в ястребов, рыболовов, но все мимо.

Дома они для практики стреляют в бросаемые бутылки и шарики. Теперь Дрезе дразнит их:

— Это же вам не щепочки, Павел Афанасьич!

— Вы, Павел Афанасьич, лучше бы уж в Дрезе попробовали,— смеется отец.

День быстро проходит. Синее волны, чайки белей на этой синеве, и сильней усталость. Как-никак надо плыть на мельницу. И пока добираются, пока пьют чай и закусывают, разводят пары на «Капитолине», солнце, краснея, касается горизонта. Удят рыбу, болтают с мельником. Наконец в розовых сумерках отплывают. Как фламинго, стоит на болотце цапля, и ее спугивает пыхтенье парохода. Едут долго. Становится прохладно, сыро, глаза тяжелеют от утомления. Но перед взором далекая вода, все расширяющаяся, и уже скоро откроются знакомые маяки. Вышла луна и безмолвным свидетелем стоит сбоку, сопровождая бег «Капитолины». Ее тусклое сияние, сквозь слегка туманящийся воздух, дает оттенок грусти и загадочности.

Женя, сидя на носу, думает, что через месяц все это уйдет, может быть навсегда. Его клонит ко сну, сердце жмет тоска; отец кутает его.

## XXI

Быстро прошел июль, половина августа. Среди латинской зубрежки ездили за тетеревами, но покой и ясность Деревенской жизни были утеряны. Ложась спать, Женя думал об экзаменах, о городе; его волновал близкий отъезд и разлука с родными.

Решено было, что мать свезет в город Соню с Женей, наймет маленькую квартиру и они поселятся под присмотром Дашеньки.

И вот, пожелав успеха Жене, уехал Жук. Наступил день отъезда. Долго укладывались, соображали, не забыть бы чего, и десятого августа, в прохладное утро, тронулись. Верст тридцать надо было проехать по своей, узкоколейной дороге, далее на лошадях. Женя помнил влажную от росы платформу их станции, «директорский» вагончик, куда их усаживали, отца, озабоченного и печального. Когда Женя поцеловал его в последний раз в рыжеватые усы, горло его сдавило, и он бросился в вагон. Поезд задрезжал. Мелькнула фигура отца, потом завод потянулся, и поезд пополз в гору — ту самую, куда ездили на тягу. Чем дальше уходил он, тем шире и сильнее развевалось озеро, село, и завиднелся на той стороне дом, так милый Жениному сердцу.

Леса уже начали желтеть; в раскрывавшемся виде, голубизне озера и прозрачности далее было прощание.

Вот лежит сзади детство, в его тихой радости, и возврата к нему нет. Поезд взобрался на высшую точку и, громыхая, покатил вниз. Медленно, ровно опускались родные места, как бы утопая. Женя прижался лбом к стеклу и сдерживал слезы.

## XXII

В городе мама наняла квартирку в три комнаты. Как убого это было! И как мрачно казалось все здесь.

Дул сухой ветер, гнал пыль и листья. В крошечном домике, с двориком величиною с ладонь, надо было ждать экзаменов.

Тяжело вздыхая, после плохой ночи встал Женя в назначенный день. Пока шли с мамой, было еще ничего себе, но когда она оставила его в огромном здании, где кишели дети, сновали учителя, он почувствовал, что погиб. Самый запах крашенных парт, ранцев убивал его.

Плохо соображая, попал он, наконец, в класс, где экзаменовали. Казалось, что его фамилию не назовут никогда. Просто о нем забыли среди моря этих малышей, от которых он ничем не отличался.

Наконец, бледный, полуживой, очутился и он у зеленого стола. Тут сидели батюшка и инспектор. От волнения

Женя барабанил пальцами по сукну, слегка вздрагивая.

— Где ты учился? — спросил инспектор острый, лысый человек на тонких ножках.

— Д-дома.

— Значит, тебя плохо воспитывали. Золотое пенсне инспектора вздрогнуло.

— А... что?

— Как «а что»? Что это за выражение, во-первых? Разве так разговаривают со взрослыми? А потом, тыходишь к столу и начинаешь барабанить пальцами! Разве воспитанный мальчик позволит себе это?

Женя был оскорблен. Невоспитанным он себя не считал; кроме того, с ним обращались всегда мягко, ласково, и один этот тон был невыносим. Он не ответил и отвернулся.

Близорукий батюшка, в очках, имел радостно-победоносный вид. Казалось, он тут же неопровержимо докажет бытие Божие и подлость «Дарвина». Несмотря на нескладность



ответов, на неточность касательно патриархов (ошибки в определении возраста), Женя получил «удовлетворительно». То же было и по-русски. Он вздохнул веселей. Одна латынь!

На перерыве он сошел в гимназический садик и тут же получил крещение. Некий Юзепчук Петр, второклассник, дал ему тумака. Женя обиделся; произошел бой, где противники налетали друг на друга петухами, под гул и галдение публики, схватывались, опять отскакивали, но оба остались на позициях — после же битвы даже познакомились.

— У Пятеркина держишь?— спросил Юзепчук.— Латынь?

— Да.

— Ну, он сволочь. Мне кол за подсказ поставил. Пятеркин был человек тучный, бритый, с бородавками.

С первых же ходов он стал ловко загонять Женю в угол и на третьем склонении сказал:

— Довольно! Егоров Иван!

Женя не понял. Пятеркин красиво и жирно поставил ему в журнале два.

Горек был для Жени этот вечер. Мама утешала, говорила, что это пустяки, завтра она пойдет объясняться к Директору, но он был безутешен. Не примут! Скандал. Позор, жалкое бегство на родину. Он молчал, потихоньку плакал; ночь не спал. Казалось, что весь свет знает о его неудаче; он, державшийся всегда твердо и с достоинством, оказался хуже какого-то Юзепчука, и ему предстоит быть недорослем из дворян. На другой день мама была у директора. После мучительного четырехдневного ожидания он был принят.

### XXIII

Давно известно, что жизнь маленьких гимназистов напоминает каторгу. Так было и с Женей. Мама уехала, оставив их с Соней под надзором Дашеньки. Наступила осень. Поздно светало, и в суровых потемках, при свечке, надо было одеваться и пить чай. И потом — бежать, дрожать перед латинистом, перед надзирателями, директором, инспектором, дышать пыльным воздухом класса, есть сухой бутерброд на большой перемене, думать, как пройдет письменная задача, ждать грубости, подчиняться жалким и бездарным людям. Бедная жизнь, серая, проклятая. Что может она взрастить?

В пятницу Женя шел как на казнь. В этот день он бывал дежурным, и всегда кто-нибудь устраивал скандал: разбивали стекло, проливали чернильницу.

— Дежурный?— говорил надзиратель. Женя шел.

— Кто это сделал?

— Не знаю.

— Да? Не знаешь? Ну, останешься без обеда.

Выдавать товарищей, конечно, не полагалось; и он сидел. Но сидел страдая. О, как больно оскорбляет наказание ребенка!

Дома уроки при скудной лампе, однообразие, отсутствие друзей, природы, вольности. В десять часов сон — вдруг забыл приготовить немецкие слова — и в одной рубашонке, при свечке, дозубривает он их, в волнении. Завтра же снова «общая молитва», экстемпорали, правило пропорций.

Так уходят нежные и милые годы, когда душу посещает уже образ Зинаиды, заставляя томно останавливаться сердце. Но где же быть Зинаиде в этом несчастном болоте? Далекая, все неземней становится она — зеленая: звезда отроческой любви.

### XXIV

Раз, в ноябрьский вечер, зашла тетя Анна Михайловна. Дети мало знали ее; уезжая, мама просила иногда наведывать их.

Анна Михайловна была невесела и не разделась.

— Тетя,— сказала Соничка,— вы бы сняли шубу. Я вас угощу вареньем, нам Дашенька замечательное сварила.

— Спасибо, милая, некогда. Анна Михайловна вздохнула.

— Вот что, дети... Вам завтра надо уезжать. Соничка удивилась. Жене все это показалось странным. И вид тети Анны Михайловны, ее голос, то, что она сидит в верхней одежде.

— Я была сегодня у директора, завтра с утра у начальницы, и завтра же вечером, вероятно, вы отправитесь.

— Тетя, я не понимаю,— сказала Соня и вдруг побледнела.— Куда мы поедем?

— Ну, дети, ничего особенного нет, вы напрасно не волнуйтесь, но все-таки должна вам сказать, что получила от отца известие...— Она замялась.— Да ничего особенного... Мама захворала. Бог даст, пройдет все благополучно. Все же надо ехать.

Соня отошла к окошку и сморщилась. Маленькие слезы побежали из ее глаз, и, сморкаясь в платочек, она сказала:

— Если нас вызывают, значит, мама больна серьезно. Женя держал уже в руке телеграмму: «Мама тяжело больна, высылайте детей немедленно».

Анна Михайловна целовала и утешала их, но они сразу пали духом. Они молчали, Женя заложил руки за спину и ходил угрюмо из угла в угол, Соничка плакала. Жене хотелось плакать тоже, но он крепился, и только когда тетюшка ушла, стал реветь у себя, в подушку. Ему казалось, что теперь не стоит уже есть, ходить в гимназию и жить. Безразлично — все пропало. Раз умрет мама, к чему тянуть эту канитель?

Вечером к нему пришла Соничка и поцеловала в лоб. Эта женская ласка напомнила ему маму еще сильнее, ее запах, ее мягкие руки, и он еще неутешнее заплакал.

— Не плачь, Женичка,— сказала Соня, как старшая, стараясь поддержать его.— Даст Бог, пройдет все. Не плачь, милый.

— Соня,— бормотал он сквозь слезы,— скорей бы уж! Ах ты, Господи, когда ж мы поедем!

К сестре он тоже чувствовал прилив любви; и теперь не помнил уже о поддразнивании, о том, что во все игры, в детстве, она обыгрывала его, о ненавистном некогда «бим-бом».

Около полуночи, очнувшись после мрачного сна, он увидел в Сониной комнате свет. Там, перед маленькой лампадкой, Соня молилась. Молилась и Дашенька, охая, шевеля старческими губами,— у себя в каморке.

На другой день с утра летел мокрый снег. Анна Михайловна провожала детей на вокзал, усадила в третий класс. Туманные поля, полосы метели пронеслись мимо них; я вагоне было жарко. Хмурые, жалкие, жались друг к другу; дети, как бедные пичуги. Громыханье вагона погружало оцепенение. Но в груди давила ровная жестокая тяжесть — мама. Жива ли, жива? Вдруг не успеют, и не услышишь; никогда звука ее голоса? В темнеющем вагоне, с несшимися за окном искрами, снова охватывал тот же смертный холод, что и тогда, с Настасьей. Станции, пересадка, носильщики, мужики — все казалось смутным сном.

Чем ближе подвигались к дому, тем больше тоска росла. Вот ранним утром они слезают в темноте на полустанке, откуда идет узкоколейная дорога. Здесь все уже знакомое; встречает Кузьма и ведет на съезжую, где они могут отдохнуть до поезда.

— Ну... что, Кузьма?— спрашивает Женя, едва выговаривая слова.

— Ничего, слава Богу, Евгений Николаич. И как слышно, мамаше вашей лучше.

Милый Кузьма, откуда он это знает? Но Женя недоверчив: может быть, это просто чтобы успокоить...

— Да вы почему знаете?

— Тут вчера мастер ремонтный приезжал.

В двенадцать на станции Стеклянная известие подтверждается: встречают Дрезе.

— Ну да ничего, слава Богу! А уж мы за мамашу КЯ боялись! Чуть не при смерти была третьего дни, я же вас уверяю. Ну, теперь ничего.

Дома были часа в три. В передней их обнял отец и опустился тяжело на стул. Видно было по изменившемуся лицу, что нелегко прошли эти последние недели.

— Маму нельзя видеть, погодите.

Он рассказывал им, как страдала мама от болезни печени. Третьего дня доктор сказал, что всего ждать можно. Но ночью стало легче.

— Ночью?— переспросил Женя.— Ночью третьего дня?

Он взглянул на Соню. «Бог услышал их?» Но от волнения, радостного и острого, он ничего не мог сказать.

Наверху все было полно болезнью. Казалось, даже смерть не совсем была покорена в этой мрачной комнате. Мама, иссохшая и измученная, но с улыбкой, лежала на огромной постели. Увидев ее, дети лишились выдержки и, припав к постели, рыдали.

## XXV

Они прожили дома около месяца. Это было время тихого, радостного существования. С каждым днем мама поправлялась, каждый день, просыпаясь, Женя знал, что она здесь, любимая и дорогая, и в ужасе гнал мысль, что было бы, если бы она не выздоровела. Но нечто серьезное вошло в их жизнь. Не катались уже, как прежде, беззаботно, на буере, коньки не интересовали, и казалось, что прошло сразу несколько лет. В жизни бывают иногда победы, от которых оправиться труднее, чем от поражений.

Так было и здесь. Уезжая после Рождества в гимназию, Женя чувствовал, что любит мать еще острее и больней, мучительней. Вместе с тем, оглядываясь на родные места, он понимал, что какая-то часть его жизни — и не лучшая ли — прожита и сюда он не вернется тем беспечным ребенком, каким въезжал в этот дом. Детство его кончилось.